

РЕЧЬ О А. Ф. ГИЛЬФЕРДИНГЕ, В. И. ДАЛЕ И К. И. НЕВОСТРУЕВЕ

Милостивые государи!

Тяжел был для нас прошлый високосный год. Выбыли силы, нелегко заменимые, и убыль значительно перевесила прибыль. Русская словесность, а с нею и небольшой круг людей, составляющих наше Общество, понесли важные утраты: 20 июля¹ мы лишились Александра Федоровича Гильфердинга, 22 сентября скончался Владимир Иванович Даль, а 29 ноября не стало и Капитона Ивановича Невоструева.

Неодинакова судьба и неодинаково значение этих трех подвижников русской науки и русского слова; различны дарования — мы и не намерены их сравнивать, но при всем различии немало и общего — особенно во внутреннем содержании их деятельности.

Один, именно Гильфердинг, сошел в могилу в самой лучшей поре своих лет, не успев закончить самой главной своей работы, для которой всю свою предшествовавшую, полезную деятельность считал только подготовлением. Столько уже было дано и совершено им одним на всех разнообразных поприщах его кратковременной жизни, что этого дела достало бы на заслугу многим, и многие тем бы и удовлетворились; но не в природе Гильфердинга было ослабевать и успокаиваться, да и мы не переставали простирать все новые и высшие требования к этой ведомой нам силе труда и таланта. Он не был художником слова; для него — человека науки и мысли — русская речь служила по преимуществу средством для объяснения истин исторических, этнографических, политических; однако ж и филология входила в круг его научных исследований, а в последнее время привлекла его к себе область русского песенного народного творчества, и не только привлекла, но и напрягла его ученую любознательность до крайней степени самоотвержения, далее которой не может идти человек: он пожертвовал ей здоровьем и самой жизнью, — болезнь и смерть застигли его в самом странствии — в поисках за былинами и сказаниями. Он умер на 41 году своего возраста.

Напротив того, ровно и мерно дошел Даль до края своего долгого земного поприща, успевши оправдать всю полноту возлагавшихся на него надежд, — дать все, что по собственному его сознанию он в силах был дать, и под конец жизни воздвигнув себе вековый памятник своим «Толковым словарем живого великорусского языка». Даль также не может быть назван художником-созидателем в тесном смысле этого выражения, но русское слово не было для него только средством: нет, оно само по себе было для него предметом и целью, преимущественно с художественной своей стороны, —

не наше книжное, искалеченное, чахлое слово, а именно слово живое, которое он всю жизнь, везде и всюду подбирал из уст самого народа. Поэтому и в произведениях Даля, относящихся, по своей внешней форме, к разряду «изящной словесности», видится одна главная задача: воспроизвести собственно это же слово в его жизненной обстановке, во всей его меткости и уместности! Оттого и язык его повестей и рассказов — не столько органическая, творческая речь самого автора, сколько живой талантливый подбор народных выражений, поговорок, пословиц, — будто нити, панизированные зернами. Все мы слышим кругом себя народную речь, всюду она раздаётся, но она скользит мимо нас, не задерживая на себе нашего внимания; нужно обладать особенным художественным слухом и глубоким сочувствием к народу для того, чтоб в слышимом говоре услышать его живые особенности, его красоту, подметить, уловить все изгибы и оттенки смысла и таким образом обратить их в достояние науки, словесности, — вообще народного самосознания. Этим слухом, этим сочувствием и обладал в высшей степени Владимир Иванович Даль. Если обратиться воспоминанием к самому началу его литературной деятельности под именем *Козака Луганского*, — нельзя не поразиться смелостью и самостоятельностью его почина и вообще всею его нравственною оригинальною фигурою, с отчетливыми, строгоопределёнными очертаниями, — так резко выдающегося на сером фоне наших тогдашних литературных и общественных нравов, нашей — столько модной в то время псевдоартистической распушенности и легкомысленного, полупрезрительного отношения к русской простонародности. Точность слова, точность намерений, точность действий, точность в жизни общественной и домашней... все у Даля было точное и словно точеное. И вся эта нравственная особенность и сила применена была к труду, а самый труд — труд всей жизни — приложен к изучению русского просто-народия. Моряк, медик, механик, чиновник, практик во всем умелый, всюду бывалый — таков был этот собиратель живого народного слова. Но ошибался тот, кто при жизни Даля признавал его сочувствие к народу чисто внешним и самого Даля вполне завершённым и удовлетворённым внутренне. Нет, этот практический, положительный человек, датчанин и лютеранин по рождению, невольно подчинялся и духовному влиянию русской народности, тяготился противоречием своего религиозного внутреннего строя с народным и наконец разрешил это противоречие, окончательно объединившись с народом в вере за несколько месяцев до кончины. Бестрепетно, без судорожных прицепов к жизни, с упованием, верный самому себе, встретил он смерть, — и в то же время с обыкновенною точностью расчета определил заранее день и час кончи-

ны и распорядился всеми мелочными подробностями похорон.

И Гильфердинг, и Даль — оба не русские по крови; но тем более причины для нас радоваться той нравственно притягательной силе русской народности, которая умела не только вполне усыновить себе этих иностранцев по происхождению и привлечь их к разработке своих умственных богатств, но и одухотворить их не русское трудолюбие русской мыслью и чувством. Да, страстно преданные России и русскому народу, оба они — и Гильфердинг, и Даль — в то же время не порусски (к счастью, может быть, для дела) относились к труду. Это не русское свойство видим мы в упорстве труда, в размеренном и вместе неослабном, настойчивом движении к цели, в правильном распределении работы, одним словом, в таком отношении к труду, которое не нуждается во внешнем возбуждении, чуждо запальчивости, не знает ни скачков, ни перерывов, ни лени, ни унынья, не ищет одолеть задачу сразу, приступом или запоем, — что так свойственно нам, природным русским, — но которое является действием высокого самообладания, всегда бодрой, спокойно и ровно напряженной воли.

Некоторые готовы умалять нравственное достоинство подобного отношения к труду, полагая, что так трудиться способны будто бы только натуры односторонние и что при разнообразии талантов, при той многосторонней даровитости — так выходит из их слов — которою как бы страдает русская природа, сосредоточение сил на одной какой-либо задаче, в тесных рамках какой-либо специальности, для нее почти невозможно. На этом основании склонны — и очень склонны у нас — не только извинять русскую лень и распущенность, но и возводить их чуть не в достоинство. Но если и справедливо, что живость ума и широкая даровитость менее способны к формальному сосредоточенному труду, то тем необходимее для них напряжение воли, тем обязательнее для них усвоение того знания и тех приемов труда, без которых самый блестящий талант остается бесплодным, — тем почетнее борьба с искушениями собственного духа и тем добычливее победа. Пример гениальных ученых и художников чужих стран свидетельствует, что трудолюбие нисколько не несовместно с самой широкою гениальностью, но, напротив, оно-то ее и оплодотворяет. У нас же наоборот. Мы не умеем работать, не уважаем трудолюбие — оттого при всей нашей даровитости мы так мало производительны: пропорциональное отношение цельных, законченных ученых и литературных у нас трудов к сумме дарований, которыми изобилует Россия, поразительно скудно.

Но есть и у нас исключения, которые тем почетнее, что они одиноки, всем обязаны себе самим, а не среде, в которой

возникли, — и вот одним из таких исключений, и притом самым крупным, был наш покойный сочлен, Капитон Иванович Невоструев.

В самом деле, в Невоструеве — этом скромном, до сих пор мало известном в России и великом труженике — трудолюбие является уже не только похвальным и полезным качеством, а истинно высокой добродетелью, восходит на степень духовного подвига. Если оно не отличалось, быть может, тем методическим характером, какой замечается у Даля и Гильфердинга, то в нем выступает иная, особенная, нравственная и совершенно русская народная черта — черта безграничного смирения, способность трудиться без всякой подпоры извне, без поощрения, без утешений славы, в нужде и скорби, одним словом, не приемля здесь мзды своей.

Вся жизнь его была посвящена изучению и исследованию памятников церковнославянской письменности — работе тяжелой и неблагодарной — в том именно смысле, что она менее всего была способна доставить ему у нас в России видное положение, выгоды материальные и ободряющую популярность. А между тем его ученые разыскания драгоценны для нашего исторического самосознания, — и одно уже его описание рукописей Синодальной библиотеки² способно увековечить его имя в русской науке. — Но все это не помешало Невоструеву жить и умереть преждевременно в совершенной бедности, — почти непризнанным и неоцененным, как бы в вагоне. Только опустивши его в могилу, поздно спохватились и поняли у нас, какая схоронилась, вместе с ним, громада ученого знания, какая исполинская сила труда — и какая нравственная доблесть, какое величие смирения!

Памяти этих трех трудолюбцев, подвизавшихся на поприще русской словесности, мы и посвящаем наше настоящее, в то же время очередное годовое заседание. Почтим и дело, совершенное ими, и нравственный подвиг их жизни: да назидаются их примером живые. После годового отчета, который прочтет г. секретарь³, вы услышите, милостивые государи, более подробные воспоминания о трех покойных сочленах, изложенные по очереди в порядке утрат, понесенных нашим Обществом, — именно о Гильфердинге прочтет вам Н. А. Попов; о В. И. Дале — его сотрудник и ученик П. И. Мельников, столько известный в литературе под псевдонимом Андрея Печерского, псевдонимом, который придуман был для него самим Далем; а о Невоструеве — Е. В. Барсов⁴. Но так как статья Н. А. Попова касается только одних учено-литературных трудов Гильфердинга, то я позволю себе здесь, так сказать, предвосполнить его статью сообщением некоторых, недостающих ей биографических данных.

Он родился в 1832 году, в Варшаве, от отца-лютеранина,

происхождением, кажется, из Голландии, но уже русского уроженца и воспитанника Московского университета, и от матери-католички, уроженки острова Цейлона. По желанию отца, Александр Федорович, при самом рождении, был окрещен по обряду православного исповедания. Его отец, достойно подвизавшийся на государственной службе и преимущественно на дипломатическом поприще, пользовавшийся с молодых лет дружбою и уважением Хомякова и Погодина⁵, которого он был университетским товарищем, — хотел непременно, чтобы и сын его окончил воспитание в Москве и в Московском же университете. Еще студентом усердно посещал Александр Федорович Алексея Степановича Хомякова, и под его-то благотворным сильным влиянием определилось в юноше Гильфердинге то направление деятельности, которому он остался верен всю жизнь и которое в истории нашей литературы и общественного внутреннего развития получило название «славянофильского». Таким образом в основание труженичества Гильфердинга легли с самого начала живые сочувствия и живая мысль. Работать, сколько хватит сил, на пользу русского народного самосознания и славянской взаимности — вот задача, которую он поставил себе при выходе из университета в 1852 году, будучи 20 лет от роду, и которой послужил неизменно до конца, т<о> е<сть> еще 20 лет своей жизни. Эти 20 лет были одно непрерывное деланье. Труд был его стихией, но труд не только отвлеченно-научный. Кабинетный ученый, проводивший ночи в разборе болгарских и сербских древних рукописей, — публицист, всегда беспристрастным и трезвым словом судивший о самых жгучих политических вопросах современности, — отважный путешественник, совершавший хладнокровно самые опасные странствования, консул-дипломат между славянами, поработоченными Турцией, всегда высоко державший русское знамя⁶, — замечательный работник в канцеляриях Государственного Совета и Главного комитета по крестьянскому делу, — везде и всюду имел Гильфердинг пред собою одну заветную цель, подвигаясь к ней спокойно, шаг за шагом, неумоимо, упорно. Поэтому не отказывался он от участия и ни в каком общественном, даже по-видимому постороннем для него, деле, если только мог быть ему полезен и улучшить для него хоть минуту досуга. Но как ни был он много и разнообразно занят, всегда отыскивалось у него столько досуга, чтобы ободрить и облегчить чужой начинающийся труд в родной ему области науки, сообщая трудящемуся, даже без его просьбы, ученые пособия и указания. Особенно много послужил Гильфердинг славянскому делу: это была его специальность. Его неоднократные путешествия по славянским землям, его исторические исследования и статьи по современным вопросам славянского ми-

ра, всегда отличавшиеся ясностью мысли и изложения, особенно сильно содействовали установлению живых отношений к славянам и возбуждению к ним разумного и просвещенного сочувствия в среде русского общества. Я не стану перечислять его сочинений, об этом вам подробнее сообщит Н. А. Попов. Скажу только, что ни ученая, ни общественная его деятельность не прерывалась ни разу.

Избранный в 1871 году в председатели Этнографического отдела Русского географического общества, Гильфердинг, как ни занят был службой и другими делами, однако же верный своим правилам, не отказался от этого звания, и здесь привлек его к себе новый могучий интерес, близко, впрочем, связанный с главным предметом его занятий — русское народное эпическое творчество. Несмотря на слабость своего телосложения и хилость здоровья, он отправился летом 1871 г. на поиски в Олонецкую губернию, в самые глухие ее места, и, преодолев всевозможные лишения и даже опасности, возвратился оттуда с огромным запасом им записанных былин и песен. Поместив в «Вестнике Европы» чрезвычайно интересное описание своего путешествия и наблюдений своих над певцами и над самым процессом современного устного сказания древних былин и песен, приготовив к изданию все им собранное⁷, Гильфердинг летом 1872 года вновь поспешил в Олонецкий край, чтоб пополнить свое собрание. Переплывая Онежское озеро, толкаясь на барке среди рабочих, он заразился тифом, и в несколько дней его не стало. Он погиб, как боец, в честном бою, в самом разгаре и на поле своей деятельности, жертвой любви к русской науке и русской народности.

Он умер, не дождавшись появления в свет тех трудов своего учителя, вечно памятного председателя нашего Общества, Алексея Степановича Хомякова⁸, на издание или, вернее, на ученую редакцию которых он положил столько добросовестной работы и столько горячей любви. Я разумею III и IV томы «Сочинений» Хомякова, содержащие в себе «Записки о Всемирной истории», — вышедшие два месяца тому назад.

Здесь, кстати, могу я возвестить, что в непродолжительном времени выйдут из печати труды также сподвижника и друга Хомякова, К. С. Аксакова. Я разумею здесь собственно его филологические труды, которые составят два большие тома — II и III томы Полного собрания его сочинений. В III томе помещается его «Опыт русской грамматики», посвященный нашему Обществу; первый выпуск этой «Грамматики» появился в печати еще перед кончиной автора. Многие обстоятельства помешали, к сожалению, своевременному изданию этих томов; но смею думать, что появление их и теперь не может быть признано запоздалым⁹.

В заключение, милостивые государи, обращаясь к годич-

ной деятельности нашего Общества, я должен сказать, что она сосредоточивалась преимущественно на ученой разработке и на увековечении в печати произведений нашего народного устного творчества. Благодаря неутомимым трудам нашего достоуважаемого секретаря, П. А. Бессонова, издан под его редакцией в прошлом 1872 г. 9-й выпуск «Песен, собранных Киреевским», под заглавием «Восемнадцатый век в русских исторических песнях после Петра Первого». Остается издать еще один выпуск — 10-ый и уже последний, — содержащий в себе песни новейшие, первой половины нынешнего столетия, — и тем завершится наконец издание этого драгоценного собрания. К 9-му выпуску приложены г. Бессоновым и собственные его исследования о песнотворчестве XVIII века, раскрывающие нам тот внутренний процесс разложения и перерождения, который совершался в народной песне после Петровского переворота, под влиянием разных новых и чуждых, вторгшихся в русскую жизнь элементов и, наконец, того взаимодействия, которое установилось в конце прошлого столетия между поющим народом и целою возникшею литературою печатных и рукописных песенников. В эту эпоху появляется авторство, доселе почти не известное в народной безличной поэзии, — можно соследи́ть историю многих песен, и г. Бессонов представил нам, между прочим, историческую монографию одной из таковых песен, озаглавленную им: «Графиня Прасковья Ивановна Шереметева, крестьянка села Кукова»¹⁰. Смею обратить ваше особенное внимание на эту монографию, интересную не для одних ученых, но заключающую в себе все данные для художественного романа из русской жизни конца XVIII века, простонародной и барской.

При содействии же нашего Общества изданы и «Причитанья Северного края», собранные нашим сочленом, Е. В. Барсовым, именно часть первая, заключающая в себе «плачи похоронные, надгробные и надмогильные»: это единственный вид пребывающего покуда, еще не иссякшего народного творчества. Это не отпетое, окостеневшее и только по памяти передающееся слово народной старины, но живое, творящееся слово народного вдохновения в настоящую пору, в современной действительности. Важность труда г. Барсова, сумевшего почерпнуть для нас струю народной поэзии из ее живого источника, так очевидна, что не требует и объяснения; она оценена не только русской, но и заграничной критикой, чему доказательством служат отзывы английских журналов «*Athenaeum*» и «*Akademy*», а также славянских «*Politik*», «*Corrèspoudance Slave*», и др. Остается только пожелать скорейшего появления в свет остальных частей его сборника.

Могут заметить, что наше Общество ограничивается почти исключительно одною издательскою деятельностью. Это за-

мечание справедливо. Общество действительно занимается тем, что едва ли не всего более на потребу в настоящее время. Мы живем в эпоху быстрого разложения бытовых народных основ — неминуемое последствие неминуемых преобразований, давно прошенных и желанных и наконец к счастью совершившихся. Старый исторический склад народной жизни рушится и задвигается целыми слоями новизны еще видоизменяющейся, еще не окрепшей и не устоявшейся. Все еще бродит, ищет, чаёт, ничто не сложилось, не осело, ничто не прочно, живется день за день. Такая эпоха брожения, эпоха переходная, вообще не благоприятна ни для спокойного труда мысли, ни для художественного авторского созидания, но она еще губительнее для художественного народного творчества, — так как самый быт художника-творца, самый быт народа, — он-то и в переделе. Рядом с напылом внешних экономических интересов, так долго пренебреженных, но зато и чересчур уже сильно овладевших теперь умами и оттеснивших на задний план интересы чисто духовные, десятки тысяч школ предлагают народу просвещение, если и скудное в смысле духовном и нравственном, то все же выводящее его из стихийной области быта в область сознания или, по крайней мере, полусознания. — Таков роковой, но неминуемый ход вещей, вероятно только временный, ведущий нас к новой поре исторической жизни. Поэтому надо спешить собрать и уберечь от неизбежной гибели последние памятники, последние звуки народного эпоса и того непосредственного народного поэтического творчества, которое, видимо, отживает. Лет через 10, в помутившейся народной памяти не останется от них и следа. На чьей же обязанности лежит по преимуществу эта забота о сохранении сокровищ нашей народной поэзии, как не на Обществе любителей русского слова? И оно, милостивые государи, как вы видите, строго сознает и по мере сил своих исполняет эту высокую обязанность.